

Из истории слов и выражений. Человек в футляре

Бортник Г. В.

Многие перифразы, созданные русскими писателями в XIX веке, органично вошли в современную речь и в словарях наших дней представлены уже как общеупотребительные фразеологизмы. Рожденные талантом Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Горького и других русских писателей, они, прежде чем попасть на страницы словарей, прожили долгую жизнь в творчестве публицистов XIX-XX веков. Авторитет публицистики сыграл свою роль в том, что значение отдельных фразеологизмов, восходящих к авторским перифразам, сложилось не под влиянием художественного контекста, в котором они родились, а, главным образом, под воздействием содержания публицистических статей.

Возьмем, к примеру, чеховского *человека в футляре*. Эта перифраза, как и герой одноименного рассказа А.П. Чехова, часто встречается в публицистических произведениях начала века. Естественно и закономерно, что в предреволюционных сочинениях акцентировались не психологические составные «футлярного» существования, а социально-сословные. Так, для вождя российских социал-демократов *человек в футляре* как общественный тип – это «хлюпки из буржуазной интеллигенции, которые подпевают буржуазии». Обличая с партийных позиций «застывших человек в футляре, не видящих дальше своего носа», публицист клеймил их, «жалких» за то, что они стояли «далеко в стороне от жизни». Столь же явный крен в сторону партийно-классовых оценок человека в футляре прослеживается и в статьях его соратников – Воровского, Луначарского и др.

Представленный практически во всех толковых и фразеологических словарях со ссылкой на рассказ А.П. Чехова фразеологизм *человек в футляре* в своем содержании все же более ориентирован на то значение, которое придано ему в работах Ленина, Воровского, Луначарского и близких им публицистов и литературных критиков. Наиболее пространно семантизирован этот фразеологизм в Толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова: «Человек в футляре – *перен.* Человек, замкнувшийся в кругу узких обывательских интересов, боящийся всяких нововведений и оценивающий всякое дело с казенной, формальной точки зрения (по названию рассказа А.П. Чехова)».

Статьи прочих толковых, а также фразеологических словарей представляют, по сути дела, вариации приведенного толкования. Однако некоторые словари, вышедшие в последние десятилетия, более самостоятельны в определении качеств *человека в футляре*, например, «Крылатые слова» отмечают, что *человеком в футляре* «называют человека, боящегося всяких новшеств, крутых мер, очень робкого, подобного учителю Беликову, изображенному в рассказе А.П. Чехова». И в лингвострановедческом словаре В.П. Фелициной и Ю.Е. Прохорова «Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения» толкование фразеологизма также свободно от видимого подчеркивания сословно-классовых качеств в человеке: «Человек в футляре... говорится шутливо или иронически о человеке замкнутом, подозрительном, трусливом, который всего боится». Однако и здесь иллюстративная цитата акцентирует отрицательно оцениваемую «социальную анахроничность» *человека в футляре*: «Если иной раз появляется «человек в футляре», он выглядит среди нас социальным анахронизмом» (Кирсанов. Советский образ жизни).

Закономерно, что иллюстративные цитаты из произведений русских писателей, приводимые в словарях параллельно с пространными ленинскими цитатами, столь кратки, что не позволяют сопоставить значение фразеологизма в следующих примерах со словарным толкованием: «Вы человек в футляре, картонная душа, папка для дел» (Лавренев. Рассказ о простой вещи); «Он напоминает ей чем-то чеховского человека в футляре» (Коптяева. Иван

Иванович). В связи со сказанным представляется небезынтересным выяснить, какие человеческие проявления отмечают у своих героев Б. Лавренев и А. Коптяева.

Человеком в футляре, картонной душой, папкой для дел именуется подпилыщик Орлов белогвардейского следователя Тумановича. Автор и другие персонажи называют его *мудрый муравей, твердый человек, слишком европеец*, который за «всякие процессуальные нормы». Поступки Тумановича свидетельствуют о его смелости, решительности, благородстве.

В романе А. Коптяевой слова *человек в футляре* относятся к хирургу Гусеву и связаны прежде всего с внешним восприятием его личности: «опытный, но осторожный врач», «пугливый перестраховщик».

Таким образом, в художественных текстах подчеркиваются психологические, а не социально-классовые аспекты «футлярности». И это поддерживает сомнения в точности семантизации чеховской перифразы словарями русского языка.

Филологическая реабилитация чеховского героя, освобождение Беликова от навязываемой ему роли активного носителя злой социальной воли начинается уже с традиционного при лингвистическом анализе внимания к антропонимам. Общеизвестно пристрастие А.П. Чехова при выборе имен для героев своих произведений. Страницы его записных книжек хранят немало странных, причудливых фамилий или нарицательных обозначений лиц, нередко сопровождаемых сословными, профессиональными, национальными или половозрастными характеристиками, например: *дворянин Дрекольев, провизор Проптер, дьякон Катакомбов, актриса Гитарова, вечный студент - Кит; маленький, крошечный школьник по фамилии Трахтенбауэр; мадам Гнусик, тетушка из Новозыбкова, чех Вишечка* и т.п. Писатель словно «примеривает» имя к своему будущему герою, «прикидывает», кому подойдет то или иное из них, например: «Для водевиля: Фильдекосов, Попрыгуньей». В обозначении персонажа писателя занимают не только формально-звуковая сторона, но и содержательная, связанная прежде всего с этимологическим значением, которое у Чехова, как и у других писателей, нередко выполняет функцию скрытой исходной характеристики.

В рассказе «Человек в футляре» антиподами оказываются герои с частотными, нейтральными фамилиями, типичными для их этнических показателей: русский *Беликов* и украинец *Коваленко*. Однако элегантно намекнув, сразу же «обеляющим» неприятного «фискала» Беликова, выступает символика цвета, которую можно усмотреть в его фамилии Белый цвет, как известно, цвет чистоты и невинности.

В отличие от Беликова, Михаил Саввич Коваленко назван полным паспортным именем. Главная характерологическая нагрузка приходится не столько на фамилию, сколько на имя и отчество (*Михаил* от евр. «богоподобный». *Савва* от араб., «старец»). И если чистота и невинность Беликова далеко не самоочевидны, то «богоподобность» Коваленко подтверждается сразу же безобязанностью тех оценок, которые он дает коллегам: «Вы чиновники, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислятиной воняет, как в полицейской будке». Столь же резок Коваленко и к характеристике Беликова: «Не понимаю, как вы перевариваете ЭТОГО фискала, эту мерзкую рожу». Он называет коллегу и «Иудой», и глитай аборж павук» (укр. кулак, мироед, живоглот или паук).

Обвинительным лейтмотивом во всех этих характеристиках является предполагаемое в Беликове доноительство, которого опасаются сослуживцы и горожане. А между тем в рассказе не говорится о том, что по вине Беликова пострадал кто-нибудь из них. Впрочем, может ли быть деликатным, объективным и психологически точным в своих характеристиках Коваленко? Думается, что А.П. Чехов не случайно сделал его учителем географии и истории. Как и другие педагоги, Коваленко, наверное, читает Бокля. (Вспомним ироническое замечание Чимши - Гималайского: «Да мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей и прочее ... а вот подчинились же, терпели. То-то вот оно и есть».)

Если же Коваленко исповедует взгляды Бокля (Бокль Генрих Томас, 1821-1862, англ. историк и социолог-позитивист, председатель географического детерминизма), то его, как и других позитивистов, занимает лишь внешняя сторона. Потому-то Михаил Саввич и не

стремился разобраться в глубинных основах и скрытых причинах странностей Беликова. А вот «не естественник» Буркин более склонен к глубинному объективному анализу. Беликова он относит к людям «одиноким по натуре».

Описывая Беликова, автор использует вместо его фамилии перифразы: *человек в футляре*; *человек по натуре одинокий*; *человек, который ходит в калошах и с зонтиком*; *странный человек*; *человечек* и т.п. Нетрудно заметить повторяющееся слово *человек*. Это же понятие встречается и в надписи «влюбленный антропос», которую проказник поместил под карикатурой на Беликова. Не обходится без слова *человек* и сам Беликов в своей характеристике: «Я ... все время вел себя как вполне порядочный человек». Да и древнегреческое слово *антропос*, которое любил повторять учитель древних языков, не кажется в этом ряду случайным. Столь же не случайно и то, что Беликов преподает древние языки. Рассказчик Буркин объясняет интерес Беликова к древним языкам любовью к прошлому, стремлением отгородиться от действительности, «которая раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге».

Глаголы *раздражать*, *пугать*, *тревожить*, которые выражают отношения Беликова к действительности, рассказчик употребляет без дополнений. Можно только догадываться о том, чего не приемлет в жизни, в существующем мире странный учитель древнегреческого языка, языка античности, которая провозглашала мерой всех вещей человека. Гуманистические и героические идеалы античного наследия были во все времена идейным арсеналом личности, не удовлетворенной действительностью. Так, декабрист И.Д. Якушкин признавался: «Мы страстно любили древних: Плутарх, Т. Ливий, Цицерон, Тацит были у каждого из нас почти настольными книгами». Однако в мировой литературе героическая, гуманистически настроенная личность далеко не всегда была фигурой респектабельной. Например, в русской литературе начала XX века М. Горький доверяет пьянице босяку Сатину в застольном монологе в ночлежке восславить человека: «Чело-век! Это великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век!» Потому можно предположить, что тип нелепого мечтателя-гуманиста, кочующего из века в век из одной национальной литературы в другую, в 1896 году в России предстал в образе чеховского учителя древнегреческого языка.

Бесчеловечность мира, в котором существует странный учитель, подчеркивается теми номинациями, которые использует рассказчик, говоря об окружающих Беликова лицах. Они названы, на первый взгляд, нейтрально: учителя, педагоги, чиновники, духовенство, директор, попечитель; дамы, товарищи, народ. Однако именно в слове *народ* и «затаилась» скрытая оценка тех, от которых Беликов стремится отгородиться. Противопоставление просматривается в отказе от слова *люди*, обычной пары по числу к слову *человек*. Будучи синонимами, слова *люди* и *народ* все же различаются по оценке, что находит отражение в поговорке *Много народу, да людей нет*, а также в устойчивом сочетании *выйти в люди*.

Исходные декларативные оценки народа, выраженные прилагательными *мыслящий*, *порядочный*, по ходу повествования опровергаются рассказом о поступках и помыслах этого народа. Рассказчик Буркин назовет педагогов напряженно скучными, «которые и на именины - то ходят по обязанности». В какой-то момент целью существования педагогов становится устройство «глупого, ненужного брака» между Веткиным и Варенькой. Обсуждая Беликова за приверженность циркулярам и правилам, «порядочный народ» полагает за добродетель жить по двойным стандартам, нарушая тайком писанные и неписанные законы. И, конечно же, такому «мыслящему народу» трудно понять, почему «всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил (заметим - не от циркуляров!) приводят Беликова в уныние».

Для не ведающего сострадания народа загадкой остается и то, почему он держит в своем доме не искусную кухарку, а неумелого, вечно нетрезвого, полоумного ветерана Афанасия, которого обоснованно боится. Объясняя поступок Беликова с позиций своей пошлой морали, педагоги и не подозревают, что учитель древнегреческого просто жалеет старика. У народа, жаждущего безнравственных развлечений, вызывает раздражение непонятная нерешительность Беликова, который не спешит сделать предложение Вареньке. Эгоистичные, бездушные, трусливые горожане так и не поняли, почему умер тот, над кем они безнаказанно

потешались. А эта смерть, только кажущаяся загадочной, подобна, в сущности, самоубийству. Лишенные самокритичности люди так и не осознали, почему не изменилась их скучная, серая жизнь и после смерти Беликова, который олицетворял для них все зло и все запреты.

В рассказе А.П. Чехова есть ответы на многие вопросы, как есть и основания для утверждения, что в нравственном отношении Беликов выше тех, кто его судит и окружает. Чеховский влюбленный антропос - это отнюдь не «бесчувственная, механическая фигура», не «внутренне мертвый человек», как утверждает литературоведение. Чеховский Беликов не трусливый рационалист, как это кажется городским дамам и гимназическим товарищам. Просто, выделив среди окружающих его скучных, неискренних людей внешне совсем непохожую на них Вареньку. Беликов со временем понимает, что и она чужда ему, ибо столь же расчетлива, бездушна, легкомысленна, как другие (*Варвара* от греч *варвар* «чужой»). Не смея поставить своим отказом Вареньку в неловкое положение отвергнутой невесты, деликатный человек в футляре мужественно тянет жениховскую ляжку, сопротивляясь матримониальным хлопотам сослуживцев.

И все же неосторожное эмоциональное внимание Беликова к Вареньке стало причиной колоссального скандала. Слово *скандал* выделено Чеховым в тексте графически. Оно восходит к греческому, где имело значение «западня, ловушка; соблазн, досада». В древнерусском слово *скандал* нередко и переводилось как «ловушка, сеть; соблазн». Вот и получается, что, не уберечьшись от соблазна найти в Вареньке близкого человека, прекратить свое одиночество, Беликов, дважды публично оскорбленный, осмеянный и окончательно разочарованный и в людях, и в жизни, умирает.

Получив карикатуру, Беликов испытывает сильные чувства. Буркин определяет их прилагательным в превосходной степени: «карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление». Да и лицо человека в футляре, как ни прятал он его в футляр, было лицом оскорбленного и страдающего: «Губы его задрожали, он стал зеленый, мрачнее тучи, а затем из зеленого стал белым, точно оцепенел». И отчаянный крик Беликова: «Да как же это можно?» - это не страх при виде Вареньки на велосипеде. Этот крик - крик боли и разочарования в черствой легкомысленной барышне. А когда Коваленко на глазах у хохочущих дам спускал Беликова с лестницы, Чехов впервые ввел в рассказ Буркина несобственно-прямую речь. Появляется возможность оценить мысли и переживания Беликова без посредников и интерпретаторов: «Лучше бы ... сломать себе шею... чем стать посмешищем: ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя... нарисуют новую карикатуру, и кончится все это тем, что прикажут подать в отставку». Терзания Беликова - это терзания гордого оскорбленного человека, а страх - это страх осмысленный. Он иной, чем страх «мыслящего народа». Если «народ» боится своих реальных или мнимых прегрешений, опасается жалкого и смешного человека в футляре, то сам-то этот человек страшится своей зависимости от воли равнодушных людей, наделенных реальной властью. Вот почему безволие, пассивность Беликова нравственнее, если так можно сказать, чем бездействие и страх других.

Рассказывая о похоронах Беликова, Чехов подчеркнет, что хоронят человека достойного. Ведь, по поверьям, пасмурная погода в день похорон - это знак того, что покинул мир человек хороший.

В чеховском рассказе перифраза *человек в футляре* многозначна: одно значение она имеет в повествовании Буркина и совсем другое - будучи заголовком рассказа. Здесь существительное *человек* выступает в обобщенно-собирательном и одновременно распределительном значениях. Говоря о *человеке в футляре*, «Чехов выделяет из хаоса явлений, представляемых действительностью, известный элемент и следит за его выражением в разных натурах» (Овсяннико-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы. М., Т. 1).

Человек в футляре - это состояние не одного лишь Беликова, это и состояние его товарищей-педагогов. *Человек в футляре* - это свойство тех, кто не желает освободиться от бездуховности, кто доволен сытой, пустой жизнью. *Человек в футляре* - это, в конечном счете, характеристика всего общества, где кто-то, как беззащитный Беликов, прячет себя в фут-

ляр, чтобы сохранить в себе человека, а кто-то придумывает футляр для того, чтобы не обнаружить свою дурную, порочную суть

Приговор принятому всеми футлярному существованию А. П. Чехов представляет в пространной заключительной тираде резонерствующего Чимши-Гималайского: «А разве то, что мы... пишем ненужные бумаги, играем в винт - разве это не футляр? А то, что мы проводим жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор - разве это не футляр?..» Повторяющееся здесь местоимение *мы* не включает в себя уже умершего Беликова. *Мы* в речи Чимши-Гималайского - это *я*, *вы* (Буркин), *они* (народ), *он* («некто из поучительной истории»), которую хочет рассказать ветеринарный врач). Местоимение *ты* возникнет в речи рассуждающего позже, когда послышатся шаги Мавры, которая в начале рассказа вместе с Беликовым причислена к разряду странных людей. Это местоимение *ты*, конечно же, обращено к Беликову: «Видеть и слышать, как лгут и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей и самому лгать, улыбаться, и все из-за куска хлеба, из - за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена - нет так жить больше невозможно!»

Горькая чеховская ирония, скрытая оценка «народа», по правилам которого не захотел жить учитель древних языков, просматривается и в том, что диагностировать нравственную болезнь общества дано врачу ветеринарному.

Возникшее в рассказе А.П. Чехова выражение *человек в футляре*полнило собой словарный состав русского языка. Как и любая другая языковая единица, оно в различных контекстах может иметь различный актуальный смысл. Например, его использовал сам Чехов, характеризуя себя: «Я сплю в шапочке, в туфлях, под двумя одеялами, с закрытыми ставнями - человек в футляре» (Письмо к М.П. Чеховой от 19 ноября 1899 года). И весьма сомнительно, что, подразумевая у человека в футляре Беликова те злоешие качества, которыми наделяют его публицисты, литературоведы и отчасти лексикографы, писатель стал бы использовать перифразу *человек в футляре* для собственной, пусть даже шутливой, характеристики.